

18+

Василий Попков

ИНКОГНИТО

История одного царствования



Василий Попков

**Инкогнито. История
одного царствования**

«Издательские решения»

Попков В.

Инкогнито. История одного царствования / В. Попков —
«Издательские решения»,

Чудов монастырь, 1601 год. Беглый инок Григорий Отрепьев на цепи, в бреду, видит то, чего не мог знать: Углич, кровь на снегу, лицо убитого царевича. Так рождается самый загадочный самозванец в русской истории. А спустя двадцать лет архивариус Корецкий найдёт в пыльных свитках улики, за которые убивают. Двойная подмена, три неразличимых ребёнка и мать, не знающая, кого она похоронила. Роман-расследование без ответа. Книга содержит нецензурную брань.

© Попков В.

© Издательские решения

Содержание

Инкогнито	6
Пролог: Пепел, который говорит	6
Глава 1. Монах на цепи	8
Глава 2. Анатомия лжи	15
Глава 3. Улыбка Сандомира	24
Глава 4. Кровь Углича	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Инкогнито История одного царствования

Василий Попков

© Василий Попков, 2026

ISBN 978-5-0070-6347-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Инкогнито

Пролог: Пепел, который говорит Москва, май 1606 года. Третий час после рассвета.

Пушка ещё дымилась.

Ядро ушло на запад, в сторону Польши — сказали, чтобы выбить самый дух самозванства из русской земли. Но старый пушкарь, протиравший ствол ветошью, знал: никакого ядра не было. В ствол забили пепел. Пепел человека, который ещё вчера называл себя государем всея Руси.

Пушкарь был нем, поэтому ему доверяли такие вещи. Он не мог рассказать, что, прочищая запальное отверстие, обнаружил нечто странное: один крошечный фрагмент не сгорел до конца. Фаланга пальца. Детского пальца — слишком маленького для взрослого мужчины, которого четвертовали на Красной площади. Но достаточно большого, чтобы хранить память.

Немой спрятал косточку в тряпицу и закопал под восточной стеной Кремля, сам не зная зачем. Может быть, потому что мёртвые должны лежать в земле целиком. Может быть, потому что даже пепел имеет право на ответ.

Через двести лет, когда стену разберут для нового арсенала, рабочие найдут истлевший узелок и выбросят его в Москву-реку. Никто не прочтает послания, которое немой написал. Никто не узнает, что пепел, улетевший в Польшу, был неполным. Что одна частица человека без имени осталась в Москве — ждать, пока её спросят.

Но всё это будет потом.

А пока — площадь пуста. Ветер гонит по булыжнику хлопья сажки. У Лобного места стоит человек в чёрном кафтане без знаков различия. Он смотрит на то место, где ещё час назад лежало растерзанное тело. Потом переводит взгляд на запад — туда, куда ушло несуществующее ядро.

— Ты обещал вернуться, — говорит человек в чёрном. — В теле или в имени. Я запомнил.

Он разворачивается и уходит в переулок, прихрамывая на левую ногу. В его кафтане, у самого сердца, зашита маленькая ладанка. В ней — клочок рыжих волос.

Мы не увидим его двадцать лет.

Но именно он — не Шуйский, не Мнишек, не сама Смута — начнёт самое долгое расследование в истории русского самозванства. Расследование, которое придёт к ответу, который страшнее вопроса.

Три месяца спустя, Чудов монастырь.

Архивариуса звали Игнатий. Фамилия — Корецкий. Он был невысок, сутул и близорук, но когда он брал в руки ветхий свиток, его пальцы двигались с точностью часовщика. В Посольском приказе его терпели только потому, что никто другой не умел читать скоропись пятнадцатого века и не хотел дышать архивной пылью.

В тот день — душный, грозовой, с тяжёлым небом над Кремлём — Корецкому принесли свёрток. Без подписи. Без печати. Просто холстина, перевязанная бечёвкой, а внутри — обгоревший лист бумаги с половинкой фразы:

«...а сына моего спрячь в месте надёжном, а взамен того мальчика дай им иного, чтоб следа не...»

Корецкий перевернул лист, поднёс к свече (не к самому пламени — он был осторожен, он всегда был осторожен) и увидел водяной знак: птица Сирин, пронзённая стрелой. Герб рода Нагих. Бумага царицы.

Он должен был сдать находку начальнику приказа. Должен был забыть. Должен был молиться о спасении души.

Вместо этого он открыл ящик стола, достал чистый лист и написал:

«Вопрос первый: если царица знала о покушении, почему не спасла сына? Вопрос второй: если спасла, то кого убили в Угличе? Вопрос третий — самый важный: кого мы убили сегодня?»

Он запечатал лист в отдельную папку и надписал: «Инкогнито».

С этого слова начинается история, которую вы держите в руках. История о человеке, который не знал, кто он такой. О матери, которая не знала, которого из сыновей она потеряла. О следователе, который не знал, кому он служит. И об архивариусе, который нашёл ответ — и предпочёл его спрятать.

Потому что есть истины, которые убивают не хуже ножа.

Правды нет. Но это не значит, что нечего искать.

Глава 1. Монах на цепи

Чудов монастырь, декабрь 1601 года. Ночь.

Он помнил только, что в комнате пахло воском, кислой капустой и страхом. Собственным страхом — липким, с металлическим привкусом, как кровь из рассечённой губы. Страх этот имел цвет: тёмно-жёлтый, как старый синяк. И форму: кольцо. Замкнутое кольцо, которое сжималось где-то под рёбрами и не давало вдохнуть полной грудью.

Цепь была короткой — четыре звена, вбитых в стену, и железный браслет на левой щиколотке. Когда-то давно, в другой жизни, он видел такую же цепь на медведе, которого водили по ярмаркам скоморохи. Медведь танцевал, а цепь врезалась ему в лапу, и он ревел, но продолжал танцевать. Смешной медведь. Он тогда смеялся. Теперь ему не было смешно.

Он попробовал пошевелить ногой. Железо лязгнуло о каменный пол. Звук получился тусклый, нестрашный — такой звук не мог разбудить даже мышь. Но стражник за дверью всё равно ударил древком бердыша в косяк:

— Уймись, расстрига. Не то добавлю.

Расстрига. Смешное слово. Ещё вчера он был иноком Григорием, чтецом и переписчиком, которого сам архимандрит ставил в пример прочей братии. Он переписывал жития святых таким красивым полууставом, что даже патриарх Иов, говорят, заметил и похвалил. А сегодня он — расстрига. Человек без сана, без имени, без прошлого. Гусеница, из которой ещё не вылупилась бабочка. Или, наоборот, бабочка, которую затолкали обратно в кокон.

За что? За слова. Всего лишь за слова.

Он закрыл глаза и попытался вспомнить, что именно сказал. Память не слушалась — она была как разбитое зеркало: осколки лежали в беспорядке, и в каждом отражалось что-то своё, не связанное с остальными. Келья. Трапезная. Двое монахов за столом. Разговор о царе Борисе — это он помнил. Помнил, как один из монахов, толстый, с одышкой, говорил, что государь Борис Фёдорович — воистину благочестивый правитель, что при нём и урожаи хороши, и тати перевелись, и порядок в державе. А второй монах, тощий, с крысиным лицом и бегающими глазами, поддакивал.

И тут он открыл рот.

Что-то в нём сломалось в тот миг — какой-то внутренний стержень, державший язык за зубами. Может быть, вино (в тот вечер он выпил лишнего, да, он помнил вкус дешёвого церковного вина, кислого, как прокисший квас). Может быть, усталость от многодневного переписывания Псалтири. Может быть, что-то другое — то, чему он и сам не знал названия.

Он сказал: «Борис — не государь. Борис — тать на троне. Ирод. Детоубийца».

Тишина упала на трапезную, как топор на плаху. Он видел, как побелели лица монахов, как задрожала ложка в руке толстого, как крысиный перекрестился мелко-мелко, словно отгоняя беса. А потом всё завертелось. Его схватили. Допрашивали. Архимандрит кричал, брызгая слюной: «Кто тебя научил?! По чьему наущению ты хулишь помазанника Божия?!» Он молчал.

Не из геройства — просто не знал, что ответить. Никто его не учил. Слова вырвались сами, как рвота, как кровь из раны — неконтролируемо, непроизвольно. Так организм извергает яд.

Его избили. Он помнил только вспышки боли: сапоги, кулаки, чётки, которыми кто-то хлестал его по лицу (чётки! Святые отцы били его чётками!). А потом — цепь, подвал, темнота.

И вот он здесь.

Сколько времени прошло? Час? Сутки? Неделя? В подвале время вело себя странно — оно то растягивалось, как патока, то сжималось в точку, и тогда казалось, что всё происходит одновременно: боль, холод, голод, жажда, страх. Особенно холод. Декабрь в Москве — не шутка. Каменные стены подвала дышали стужей; иней проступил на них белыми узорами, и узоры эти напоминали то ли ангельские крылья, то ли рога. Зависит от того, как повернуть голову.

Он попробовал молиться. Губы зашевелились привычно: «Отче наш, иже еси на небесах...» Но слова были пустыми, как шелуха от семечек. Бог не слушал. Может быть, Бог вообще никогда его не слушал. Может быть, Бога не было ни здесь, ни где-либо ещё. Может быть, всё это — монастырь, службы, посты, поклоны — было лишь способом спрятаться. От кого? От себя. От памяти.

Память.

Он снова закрыл глаза и позволил ей течь. Не управлял, не направлял — просто смотрел, как обрывки прошлого всплывают из темноты.

Вот он, совсем маленький, стоит на высоком крыльце. Вокруг — зелень, солнце, птицы поют. Кто-то держит его за руку. Чья это рука? Женская. Тёплая. Пахнет молоком и ладаном. «Мама», — говорит он. Женщина наклоняется, но лица не видно — только тёмный платок и край белого убруса. «Не бойся, — говорит она. — Я тебя никому не отдам». Голос низкий, грудной, успокаивающий. Он верит. Ему хорошо.

Потом — провал.

Другая картинка. Он старше. На нём чистая рубаха, в руке — игрушечная сабелка с золотым вензелем. Он бежит по коридору, деревянные половицы гудят под босыми пятками. Коридор длинный-длинный, с низким потолком. В конце — дверь. Он толкает её и видит... ничего. Темнота. Темнота густая, почти плотная, как чернила. Он хочет войти, но кто-то хватается за плечо. Обернуться он не успевает — сон обрывается.

Чьи это воспоминания?

Он не знал. Всю свою сознательную жизнь он считал себя сыном галичского дворянина Богдана Отрепьева. Знал, что отец умер рано, что мать Агриппина осталась вдовой, что он был отдан в услужение Романовым, что потом, после опалы Романовых, постригся в монахи, спасая жизнь. Всё это было известно, записано, подтверждено — его собственная биография, скучная и неинтересная.

Но иногда — всё чаще в последнее время — в эту биографию вторгались странные, нездешние образы. Запахи, которых не могло быть в Галиче. Лица, которых он никогда не видел. Слова, которых никогда не слышал, но которые почему-то знал. Ему снилась Москва — Кремль — палаты, которых он никогда не посещал. Ему снился человек с рыжей бородой и страшными глазами, который гладил его по голове и называл «сыном». Грозный царь Иван Васильевич — да, это был он, он узнал его по парсуне в архимандричьих покоех. Но как он мог его помнить? Иван Грозный умер, когда ему, Григорию, было два года. Двухлетние дети не запоминают лиц. Или запоминают?

Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Бред. Всё это бред. Он просто начитался книг, вот и всё. Переписывая летописи, легко вообразить себя кем-то другим. Летописцы врут, но врут красиво, и их ложь заразителна. Он просто подхватил эту заразу. Не более.

Но тут же другая мысль, холодная и острая, как лезвие ножа: «А что, если нет?»

Что, если эти сны — не выдумка? Что, если они — воспоминания? Настоящие, подлинные, но только не его? Или, наоборот, его — но он сам не свой?

Он вспомнил вдруг Углич. Никогда не был в Угличе, но знал его так, словно прожил там всю жизнь. Знал запах Волги — пресный, с примесью тины. Знал скрип ворот дворца, которые постоянно смазывали, потому что царица Мария боялась, что скрип разбудит младенца. Знал вкус сахарных леденцов, которые приносила мамка Волохова. И главное — знал день. 15 мая 1591 года.

В этот день царевич Дмитрий играл во дворе с ножичком. Или не играл? Или это был другой мальчик? Или ножичек был не у него? Или...

Он застонал. Воспоминания путались, накладывались одно на другое, как листы в плохо переплетённой книге. Он видел крыльцо — высокое, деревянное. Видел мальчика в белой рубашке, который смеялся, подбрасывая ножик. Видел другого мальчика — тоже в белом, тоже смеющегося, — который стоял поодаль. Они были похожи, как две капли воды. Как близнецы. Но близнецов у царицы Марии не было. У неё был только один сын. Дмитрий. Царевич. Наследник.

Так кто же был второй?

И тут — резкая вспышка. Нож. Кровь на снегу (хотя в мае нет снега — но он видел именно снег, белый, нетронутый, и на нём — красное). Крик. Женский крик: «Убили! Царевича убили!» Топот ног. Звон набата. Толпа. Лица — перекошенные, страшные — лица тех, кто только что стал убийцей или соучастником. И среди этих лиц — одно, которое он знал. Лицо мальчика. Свое лицо.

Или нет.

Он резко открыл глаза. Сердце колотилось так, что цепь на ноге мелко дрожала, вызывая что-то неразборчивое. Пот заливал лоб, щипал разбитую губу. Он понял: ещё немного — и он сойдёт с ума. Не в переносном смысле — по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Его разум захлопнется, как капкан, и он останется в этом подвале навсегда, даже если когда-нибудь выйдет отсюда.

Нужно было что-то делать. Нужно было спастись.

Но как? Цепь прочна. Дверь заперта. Стражник не спит. Он слаб, избит, голоден. У него нет ни денег, ни оружия, ни друзей. Есть только слова, за которые он здесь. Но слова — разве это оружие?

Он вспомнил вдруг одно житие, которое переписывал месяц назад. Кажется, Иоанна Златоуста. Там была фраза, которая поразила его своей простотой и неожиданностью: «Когда человеку нечем защитить себя, он должен стать кем-то другим». Не переодеться, не притвориться — а именно стать. Полностью, без остатка. Сбросить старую кожу, как змея, и выползти из неё новым, неузнанным, другим.

Он тогда подумал: красивая метафора. Не более.

Теперь он думал иначе.

Кто он сейчас? Гришка Отрепьев, расстрига, пленник, будущий покойник. У этого человека нет шансов. Этот человек умрёт здесь, в подвале, и его труп выбросят в общую яму без отпевания. Но что, если он перестанет быть Гришкой Отрепьевым? Что, если он станет кем-то, кого нельзя просто так убить? Кем-то, чья смерть будет стоить слишком дорого? Кем-то, чьё имя — оружие?

Имя.

У него никогда не было своего имени. Григорий — имя, данное при крещении. Отрепьев — прозвище отца, которого он почти не помнил. Всё это было чужое, надетое на него, как ветхая одежда с чужого плеча. Он никогда не выбирал себе имени сам.

А что, если выбрать? Прямо сейчас. В этом подвале. На этой цепи.

Он закрыл глаза и начал перебирать в уме имена, как чётки. Иоанн? Нет, слишком дерзко. Василий? Нет, таких много. Фёдор? Был такой царь, блаженный, нищий умом. Ему не нужен блаженный. Ему нужно другое.

Дмитрий.

Имя само всплыло из темноты, как рыба из глубины. Царевич Дмитрий. Убиенный в Угличе. Мученик. Наследник. Тот, кого нет.

Вот оно. Имя, которое нельзя носить. Имя, которое нельзя убить. Имя, которое уже принадлежит мёртвому.

Мысль была настолько дикой, настолько безумной, что он едва не рассмеялся. Самозванец. Назваться мёртвым царевичем. Да за такое — не цепь, не подвал, не избиение, за такое — кол. Или колесование. Или четвертование. Или всё сразу.

Но что он теряет? Он уже мертвец. Он уже в могиле. Только могила эта пока не засыпана землёй. А если так — почему не рискнуть? Почему не попробовать?

Он вспомнил снова ту фразу: «Стать кем-то другим». Не притвориться — стать. Исчезнуть. Перестать быть Григорием. Пусть Григорий умрёт в этом подвале — физически, по-настоящему. Пусть его избили, посадили на цепь, забыли. Пусть. Зато на свободу выйдет другой человек.

Но как стать царевичем? Как убедить в этом не только других, но и самого себя?

Он начал с простого. С имени. Он произнёс про себя — беззвучно, одними губами: «Я — Дмитрий. Я — Дмитрий Иоаннович. Я — сын царя Иоанна Васильевича. Я — наследник престола».

Слова не слушались. Они звучали фальшиво, как треснувший колокол. Язык заплетался. Губы дрожали.

Тогда он попробовал иначе. Он представил себе того мальчика — того, который снился ему. Белая рубашка. Высокое крыльцо. Солнце. Мать. Он попытался войти в его тело, как входят в холодную воду — медленно, с замиранием сердца. Почувствовать, как бьётся его сердце. Как дышат его лёгкие. Как смотрит его глазами.

Это было странно. Это было больно. Но это получалось.

Он вдруг ощутил запах — резкий, пряный, ни с чем не сравнимый. Запах угличского дворца. Смесь ладана, воска, старого дерева и ещё чего-то — сладкого, как мёд, и горького, как полынь. Он знал этот запах. Откуда? Неважно. Важно, что знал.

Он увидел лицо матери — не размытое, как раньше, а чёткое. Высокий лоб. Тёмные брови вразлёт. Губы, сжатые в тонкую нить. Глаза — карие, глубокие, полные тревоги и любви. Мария Нагая. Царица. Его мать.

— Мама, — прошептал он. И голос его дрогнул. Но не так, как раньше. В этом «мама» было что-то настоящее. Что-то детское. Что-то подлинное.

Стражник за дверью, услышав шёпот, снова ударил в косяк:

— Спи, Отрепьев! Не то воды не дам!

Но он уже не был Отрепьевым.

Он лежал на холодном каменном полу, прикованный к стене, в тёмном подвале Чудова монастыря, избитый и голодный. Но за закрытыми веками происходило то, чего не видел стражник. Человек по имени Григорий Отрепьев умирал. Он захлёбывался в собственной лжи — или в собственной правде? — и захлёбываясь, рождался заново. Не авантюрист. Не самозванец. Не беглый монах. Другое. То, чему ещё не было названия.

Он будет не первым, кто назвался чужим именем. Но он будет первым, кто сделает это не из корысти. Им двигало не золото, не власть, не слава. Им двигало желание выжить. И ещё — странное, тёмное, почти постыдное желание узнать правду. Кто он? Чей сын? Кем был тот

мальчик на крыльце? Почему его сны пахнут кровью и ладаном? Почему его тело помнит то, чего не могло пережить?

Он не знал. Но он хотел знать. И это желание — жгучее, как голод, сильнее боли, сильнее страха — стало тем топливом, на котором он проедет через всю свою жизнь. Короткую жизнь. Всего четыре года. Но каких.

Перед рассветом он заснул. Ему приснилась мать. Она стояла на высоком берегу Волги, ветер трепал её тёмный платок. Она протягивала к нему руки и что-то кричала. Он не слышал слов — ветер уносил их. Но по губам читал: «Я тебя никому не отдам». И он верил.

Проснулся он от лязга замка. Дверь открылась. На пороге стоял келарь — высокий, тощий, с крысиным лицом. Тот, что донёс на него. В руке у него была краюха хлеба и ковш воды.

— Живой? — спросил келарь без особого интереса.

Он не ответил. Он смотрел на вошедшего новыми глазами. Глазами того, кто больше не был Гришкой Отрепьевым. Глазами того, кто ещё не знал своего имени, но уже знал, что старое ему не подходит.

— Ладно, — буркнул келарь. — Архимандрит велел принести тебе еды. Сказал, не дело, если расстрига помрёт до Соборного суда. Так что жри пока. И молись. Может, Господь простит.

Он взял хлеб. Медленно, очень медленно поднёс ко рту. Откусил. Прожевал. Хлеб был чёрствый, с примесью отрубей, но ему казалось, что ничего вкуснее он не ел никогда.

— Спасибо, — сказал он.

Келарь удивлённо моргнул. Видно было, что он ждал проклятий, ругани, слёз. Но человек на цепи ел хлеб и улыбался краешком губ. Странной, нездешней улыбкой.

— Чему лыбишься? — подозрительно спросил келарь.

— Тому, что мёртвые не возвращаются. Но наследники — да.

Келарь перекрестился и вышел, бормоча что-то о бесноватых. Дверь захлопнулась. Лязгнул засов.

А человек на цепи продолжал есть хлеб. Теперь он знал, что делать. Оставалось только дожждаться случая. А случай — он знал и это — обязательно представится. Потому что случай любит тех, кто уже решился.

Пять дней спустя, ночью, он бежал.

Помог тот самый келарь с крысиным лицом — не из сострадания, конечно, а из страха. Человек на цепи заговорил с ним — тихо, спокойно, не угрожая, не прося. Просто сказал

несколько слов. Всего несколько слов. Но келарь, услышав их, побелел как полотно и той же ночью принёс напильник.

Перед тем как уйти, человек — уже не Отрепьев, ещё не Дмитрий, нечто среднее, переходная форма, гусеница, рвущая кокон, — обернулся к своему тюремщику и сказал:

— Ты правильно сделал. Я запомню.

Келарь, дрожа, смотрел, как он уходит в метель, и не мог понять, кто только что стоял перед ним. Лицо было то же — Гришки Отрепьева. Но глаза. Глаза изменились. В них появилось что-то, чего не могло быть у простого монаха. Что-то царственное. Или, наоборот, дьявольское.

Впрочем, келарю было всё равно. Он закрыл дверь, трижды перекрестился и постарался забыть всё, что видел.

Но забыть не смог.

И никто не смог.

Январь 1602 года. Литовская граница.

Он перешёл границу в метель. Никто его не остановил — в такую погоду даже сторожевые псы прячутся по будкам. Он был один в белом поле. Впереди — чужая земля. Позади — всё, от чего он бежал.

Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух. Снег бил в лицо, залеплял глаза. Он смахнул снежинки с ресниц и посмотрел на восток — туда, где осталась Москва. Где остался подвал, цепь, избитое тело Григория Отрепьева. Где осталась его прежняя жизнь.

Он думал о том, что скажет, когда его спросят: «Кто ты?» У него было заготовлено несколько ответов. Но ни один из них не казался правильным.

Впрочем, времени на раздумья не было. Метель усиливалась. Нужно было идти.

Он поправил котомку за плечами и шагнул вперёд — в неизвестность. В историю. В бессмертие.

Снег скрипел под сапогами. Ветер выл в ушах. А где-то далеко, в Москве, старый немой пушкарь протирал ствол Царь-пушки и не знал, что через четыре года именно ему придётся стрелять прахом человека, который только что пересёк границу.

Но это всё будет потом. А пока — только снег. Только ветер. Только человек без имени, идущий навстречу своей судьбе.

Он улыбнулся. Метель скрыла его улыбку.

Глава 2. Анатомия лжи

Речь Посполитая, имение князя Адама Вишневецкого близ Брагина. Февраль 1603 года.

Князь Адам Вишневецкий не верил в чудеса.

Это было не позой, не цинизмом умудрённого жизнью вельможи — это было свойством его натуры, таким же врождённым, как орлиный нос или привычка прищуривать левый глаз, когда он слушал собеседника. Мир, по убеждению князя, состоял из материй простых и грубых: денег, земли, оружия и людей, которые делили первые три субстанции между собой с переменным успехом. Всё остальное — чудеса, знамения, пророчества — относилось к разряду бабьих сказок, годных лишь для того, чтобы пугать холопов или развлекать скупающих жён.

Поэтому, когда поздним февральским вечером управляющий доложил, что в имении объявился некий москвит и утверждает, будто он — чудом спасшийся царевич Дмитрий, законный наследник московского престола, Вишневецкий сперва рассмеялся, а потом приказал выпороть управляющего за пьянство.

Управляющий — седой, степенный шляхтич по фамилии Гонсевский, служивший ещё отцу Адама, — не был пьян. Он стоял в дверях кабинета, мял в руках шапку и выглядел при этом до того растерянно, что князь, уже потянувшийся к графину с мальвазией, замер.

— Ты серьёзно, старик?

— Пане, я служу вашему роду тридцать лет. Я видел татар под Сокалем, я видел шведов под Псковом. Я знаю, когда человек лжёт. Этот не лжёт. Или лжёт так, как я ещё не видел.

Вишневецкий помолчал. Потом плеснул вина в два кубка — себе и старому слуге, чего не делал никогда прежде.

— Где он сейчас?

— В людской. Я велел накормить его и дать чистую одежду. Он пришёл пешком через границу, в одном подряснике, без денег, без сопровождения. У него обморожены пальцы на левой руке. И он... он странный, пане. Очень странный.

— Чем же?

— Он молчит. Почти всё время молчит. Но когда говорит — хочется слушать. И ещё — у него глаза...

Гонсевский осёкся, подыскивая слово.

— Какие глаза?

— Мёртвые. Нет, не так. Глаза человека, который видел смерть так близко, что она оставила на нём свою печать. Как будто он умер и воскрес. Я знаю, это звучит безумно. Но я своими глазами...

— Ладно, — перебил Вишневецкий. — Завтра утром приведёшь его ко мне в кабинет. Без лишних глаз. А сейчас ступай.

Гонсевский поклонился и вышел. Вишневецкий остался один. Он долго сидел, глядя на огонь в камине, и вертел в пальцах кубок. За окном выла февральская выюга, что принесла в его дом странного гостя.

Царевич Дмитрий. Чудом спасшийся. Наследник московского трона.

Адам Вишневецкий знал историю угличского убийства. Кто же её не знал? Восемь лет назад — нет, уже двенадцать — в Угличе погиб младший сын Ивана Грозного. Официальная версия гласила, что мальчик играл с ножичком и в припадке падучей сам напоролся на лезвие. Эту версию распространяли люди Бориса Годунова, и мало кто в неё верил. Слишком уж вовремя умер последний Рюрикович. Слишком уж выгодно это было Борису. Но одно дело — подозревать убийство, и совсем другое — встретить живого покойника у себя на пороге.

Если этот человек — самозванец (а скорее всего, так и есть), за ним должны стоять серьёзные силы. Московская оппозиция? Романовы, попавшие в опалу? Иезуиты? Кто-то должен был выучить его манерам, снабдить документами, легендой, деньгами. Но Гонсевский говорит: пришёл пешком, в подряснике, без гроша. Это не похоже на хорошо подготовленную авантюру. Это похоже либо на безумие, либо на правду. И то, и другое было одинаково опасно.

Вишневецкий допил вино, поморщился и отправился спать. Но сон не шёл. Он ворочался до рассвета, а когда серое зимнее утро заглянуло в окна, был уже на ногах.

Гостя привели в кабинет ровно в восемь.

Вишневецкий ожидал увидеть кого угодно: бродячего актёра с хорошо подвешенным языком, или сумасшедшего монаха с горящим взором, или прожжённого авантюриста, от которого за версту несёт ложью. Но человек, переступивший порог кабинета, не походил ни на один из этих образцов.

Он был молод — лет двадцать или чуть больше. Среднего роста, худощав, но не тощ; в теле его чувствовалась жилистая, тренированная сила, которую не ожидаешь увидеть в монахе или книжнике. Лицо — неправильное, с резкими чертами, какие бывают у людей, много переживших и рано повзрослевших. Рыжеватые волосы коротко острижены, борода выбрита на польский манер. Одет в простое, но чистое платье, которое Гонсевский подобрал ему из княжеских запасов. Держался прямо, но без вызова; смотрел в глаза, но без дерзости.

И всё же было в нём что-то, что заставило Вишневецкого внутренне напрячься. Какая-то неправильность, несоответствие — словно фальшивая нота в хорошо знакомой мелодии. Князь присмотрелся и понял: глаза. Да, Гонсевский был прав. Глаза у этого человека были необычные. Не безумные — скорее, слишком спокойные. Так смотрят люди, которые уже перешли черту и знают, что терять им нечего.

— Садитесь, — сказал Вишневецкий по-русски (он владел этим языком с детства — мать его была из князей Глинских, и московская речь звучала в доме наравне с польской).

Гость сел. Движения его были плавными, без суеты — так двигаются либо люди высокого происхождения, либо те, кто долго тренировался это происхождение изображать.

— Мой управляющий говорит, что вы называете себя царевичем Дмитрием Иоанновичем, сыном покойного царя Ивана Васильевича. Это правда?

— Да.

Голос у него оказался неожиданно низким, грудным, с лёгкой хрипотцой.

— Но ведь царевич Дмитрий погиб в Угличе двенадцать лет назад. Весь мир об этом знает.

— Весь мир знает то, что ему сказали люди Бориса Годунова. Люди Бориса Годунова сказали, что мальчик зарезался в припадке падучей. И весь мир поверил. Удобная версия, не правда ли? Особенно для того, кто после этой смерти занял трон.

Вишневецкий чуть прищурился. Удар был нанесён точно. Действительно, кому была выгодна смерть царевича? Только одному человеку.

— Допустим. Но как вы спаслись?

Гость помолчал. Потом заговорил — и Вишневецкий вдруг понял, что не может отвести от него взгляда. Не потому, что рассказ был таким уж захватывающим — он слышал истории и почище. Но была в самой манере говорить какая-то завораживающая убедительность. Ни одного лишнего слова. Ни одной фальшивой интонации. Так не играют актёры — так говорят люди, которые действительно пережили то, о чём рассказывают.

Или те, кто сам поверил в свою ложь.

— В тот день меня должны были убить. Я знал это. То есть я не знал — я чувствовал. Ребёнок многое чувствует без слов. Моя мать, царица Мария Фёдоровна, тоже чувствовала. Она боялась за меня с самого моего рождения. Ей снились сны. Плохие сны. Ей снилось, что меня режут ножом, топят в проруби, травят ядом. Она верила в эти сны. И она приняла меры.

— Какие именно?

— У меня был... двойник. Мальчик, похожий на меня. Его нашли, когда мне было два года, и растили вместе со мной, чтобы в случае опасности подменить. Я не знал, что он — двойник. Он был моим другом. Мы играли вместе, спали в одной комнате. Мы были похожи, как две капли. Даже мать иногда путала нас в полутьме.

Вишневецкий подался вперёд. Эта деталь была новой. Обычно самозванцы рассказывали про подмену расплывчато, без подробностей. Этот же говорил о двойнике так, словно видел его лицо.

— И что случилось в день убийства?

— Нас поменяли местами. Меня спрятали в доме одного верного человека, а тот мальчик остался во дворце. Убийцы пришли и... сделали то, за чем пришли. Они убили его. Приняв за меня.

— Кто был этот верный человек?

— Не знаю. Мне было семь лет. Меня не посвящали в подробности.

— Но почему ваша мать, зная о грозящей опасности, не обратилась к царю Фёдору? Почему не попросила защиты у Боярской думы? Почему не подняла шум?

Гость впервые отвёл взгляд. Вишневецкому показалось, что он увидел проблеск неуверенности — первую трещину в броне.

— Потому что опасность исходила от тех, кто был ближе всего к трону. Моя мать боялась, что любое обращение к властям ускорит развязку. Она решила действовать тайно. И, как показали события, она была права.

— События показали, что мальчик всё равно погиб.

— Погиб не я.

— Это пока только ваши слова.

Гость снова поднял глаза. И тут Вишневецкий увидел то, о чём говорил Гонсевский. В этих глазах действительно была смерть. Не как метафора — как реальное присутствие. Так смотрят люди, пережившие клиническую смерть и вернувшиеся обратно. Или те, кто сошёл с ума, но ещё не знает об этом.

— Вы правы, князь. Это только слова. У меня нет доказательств. Нет свидетелей. Нет документов. Всё, что у меня есть — это моя память и моя кровь. Если вам нужны бумаги с печатями — я не смогу их предъявить. Если вам нужны свидетели — все они мертвы или молчат. Я пришёл к вам с пустыми руками. И с единственным вопросом.

Вишневецкий приподнял бровь.

— Каким же?

— Готовы ли вы поверить человеку, у которого нет ничего, кроме правды?

В кабинете повисла тишина. Где-то внизу, в людской, хлопнула дверь. За окном каркнула ворона. Вишневецкий смотрел на своего гостя и пытался понять, что он чувствует. Это не было восхищением — князь был слишком стар и слишком опытен, чтобы восхищаться безродными проходимцами. Это не было жалостью — жалость вообще не входила в число его добродетелей. Скорее, это было любопытство. Холодное, почти научное любопытство натуралиста, обнаружившего новый, неизвестный прежде вид.

— Допустим, — сказал он медленно, — я готов допустить, что вы — тот, за кого себя выдаёте. Что вы хотите от меня?

— Помощи.

— Какой именно?

— Мне нужно добраться до короля Сигизмунда. Или до канцлера Замойского. До кого-то, кто имеет влияние в Речи Посполитой и кому небезразлична судьба московского престола. У меня нет ни денег, ни связей. У меня есть только вы.

— Почему вы решили обратиться именно ко мне?

— Потому что вы — Адам Вишневецкий. Ваш род враждует с Годуновым. Ваши земли граничат с московскими, и вы знаете, что такое московская угроза. Вы понимаете, что Борис на троне — это угроза для Речи Посполитой. И вы достаточно умны, чтобы понять: законный наследник Москвы, обязанный вам своим возвышением, — лучшая гарантия мира на восточных рубежах.

Вишневецкий усмехнулся. Польщён, ничего не скажешь. Этот человек умел говорить. И умел бить в нужные точки.

— Вы забываете, молодой человек, что Борис Годунов — законный царь, избранный Земским собором. Свергать его — значит идти против воли московского народа.

— Земский собор избрал Бориса, потому что не было другого кандидата. Рюриковичи пресеклись. Но если Рюрикович жив — выборы теряют силу. Кровь выше любого собора.

— Кровь, — повторил Вишневецкий задумчиво. — Кровь — это серьёзный аргумент. Но как вы докажете своё происхождение? Без доказательств вы — не наследник, а самозванец. А за самозванство, как вы знаете, в Москве полагается кол.

— Я знаю. Поэтому я здесь, а не в Москве. В Москве меня убьют раньше, чем я успею открыть рот. Здесь у меня есть шанс найти тех, кто выслушает и поможет.

Вишневецкий встал из-за стола, подошёл к окну. За окном был февраль. Снег падал на замёрзший пруд, на голые ветви лип, на частокол, ограждающий усадьбу. Где-то за этим частоколом, за снегами, за литовской границей лежала огромная, непонятная, пугающая Московия — страна, которая могла стать либо союзником, либо могильщиком Речи Посполитой.

— Я задам вам ещё несколько вопросов, — сказал он, не оборачиваясь. — И попрошу отвечать быстро. Без раздумий. Если вы задумаетесь хотя бы на миг — я сочту это доказательством лжи. Согласны?

— Согласен.

— Как звали вашего отца?

— Иоанн Васильевич, царь и великий князь всея Руси.

— Какого цвета были его глаза?

— Серые. Почти белые, как зимнее небо. Но когда он гневался, они становились тёмными, как грозовая туча.

Вишневецкий чуть приподнял бровь. Он видел портреты Грозного, но о цвете глаз спрашивал впервые.

— Сколько вас было детей у царицы Марии Фёдоровны?

— Я был единственным выжившим. До меня она родила мёртвую девочку. После меня детей не было.

— Кто был вашим дядькой-воспитателем?

— Богдан Бельский. Он учил меня ездить верхом и стрелять из лука. Он подарил мне мою первую саблю — игрушечную, но с настоящим дамасским клинком. Я до сих пор помню её тяжесть в руке.

Вишневецкий резко обернулся. О Бельском знали многие — бывший опричник, любимец Грозного, отправленный в ссылку Годуновым. Но про игрушечную саблю — это была слишком мелкая, слишком бытовая деталь.

— Где вы жили после Углича?

— Меня перевезли в Москву. Тайно. Я жил в доме одного купца, имени которого я не знал. Потом, когда начались розыски, меня отправили в монастырь.

— В какой?

— Чудов.

— Вы были монахом?

— Я был иноком Григорием. Это имя мне дали, чтобы скрыть настоящее. Постриг был вынужденным. Я не хотел его принимать. Но другого способа спрятаться от людей Годунова не было.

— Если вы были иноком в Чудовом монастыре, вас должны знать. Назовите имя настоятеля.

— Архимандрит Пафнутий. Он умер два года назад.

— Имя патриарха?

— Иов. Человек Годунова. Поэтому я и бежал — патриарх начал подозревать, что я не простой монах.

Вишневецкий вернулся к столу, сел. Разговор принимал неожиданный оборот. С одной стороны, всё, что говорил гость, было логично и непротиворечиво. С другой — именно эта непротиворечивость настораживала. Слишком гладко. Слишком правильно. Так не бывает.

— Хорошо, — сказал он. — Последний вопрос. Самый важный. Ответьте честно, и, клянусь честью, каким бы ни был ответ, вы покинете этот дом невредимым. Согласны?

— Спрашивайте.

— Вы действительно верите, что вы — царевич Дмитрий? Или вы сознательно выдаёте себя за него?

Гость посмотрел на Вишневецкого долгим, изучающим взглядом. Потом ответил — и в голосе его прозвучало что-то, чего князь не ожидал. Не пафос. Не обида. Скорее, глубокая, застарелая боль, которую человек привык носить в себе, не показывая другим.

— Я не знаю, как ответить на этот вопрос, князь. Потому что я не всегда понимаю, где заканчивается моя память и начинается что-то другое. Я помню Углич так, словно был там. Я помню мать — царицу Марию — так, словно она меня родила. Но я помню и другое. Галич. Запах навоза. Лицо женщины, которая могла быть моей настоящей матерью. Эти две памяти живут во мне одновременно, и я не могу отделить одну от другой. Поэтому, если вы спросите, кто я, — я отвечу: я человек, который пытается это понять. И который хочет, чтобы ему дали шанс.

Вишневецкий долго молчал. Потом встал и подошёл к двери.

— Гонсевский!

Управляющий возник на пороге почти мгновенно — видимо, ждал за дверью.

— Проводи гостя в зелёные покои. Выдай приличное платье, приставь слугу. Обедать он будет со мной. Ступай.

Когда дверь закрылась, Вишневецкий остался один. Он подошёл к камину, помешал угли кочергой. Мысли его были в смятении — состояние, которого он не любил и которого старался избегать.

Перед ним был либо гениальный актёр, либо сумасшедший, либо настоящий царевич. Любой из этих вариантов сулил проблемы. Если актёр — значит, за ним стоят серьёзные силы и он часть большой игры, в которую неразумно ввязываться без подготовки. Если сумасшедший — он может быть опасен своей непредсказуемостью. Если настоящий царевич — он опасен вдвойне, потому что его появление взорвёт политический ландшафт от Кракова до Москвы.

Но был и четвёртый вариант, который Вишневецкий не стал произносить вслух даже перед самим собой. Вариант, при котором человек не был ни актёром, ни безумцем, ни царевичем, а чем-то совершенно иным — чем-то, что не укладывалось в привычную сетку координат. Вариант, при котором правда была такой запутанной, что даже сам её носитель не мог в ней разобраться.

«Две памяти живут во мне одновременно». Так он сказал. И это было самое честное, что Вишневецкий услышал за всё утро.

Князь допил вино, посмотрел на портрет отца, висевший над камином, и принял решение. Он пока не знал, как использовать этого человека, но был уверен в одном: отпускать его нельзя. Слишком ценная карта шла в руки — такую не выбрасывают, даже если не знаешь, как ею ходить.

Обед прошёл в молчании. Гость почти не ел, лишь вежливо притрагивался к блюдам. Вишневецкий тоже не был голоден. Когда подали взвар, князь отставил чашку и сказал:

— Я отвезу вас к своему кузену, Константину. У него обширные связи при дворе, и он лучше меня знает, как представить вас королю. Но предупреждаю: путь будет долгим и опасным. И не все, с кем вы встретитесь, будут настроены дружелюбно. Вас будут проверять, допрашивать, испытывать. Вам придётся отвечать на вопросы гораздо более трудные, чем те, что задал я. Вы готовы?

Гость кивнул:

— Я готов. Меня уже допрашивали. И пытали. И сажали на цепь. Что ещё можно сделать со мной?

Вишневецкий усмехнулся:

— Можно заставить вас поверить, что вы — не вы. Это хуже пытки.

Гость ничего не ответил. Но что-то в его взгляде изменилось, и Вишневецкий понял: он попал в точку. Гость боялся. Не смерти, не боли — а именно этого. Сомнения в себе. Вопросы, на который у него не было ответа.

— Отдыхайте, — сказал князь, поднимаясь. — Завтра мы выезжаем.

Ночью Вишневецкий долго не мог уснуть. Он вспоминал разговор, прокручивал в голове вопросы и ответы, пытаясь найти зацепку — противоречие, которое выдаст обман. Но противоречий не было. Всё сходилось. И это пугало.

Где-то в глубине дома, в зелёных покоях, его гость тоже не спал. Он сидел у окна и смотрел, как снег засыпает сад. Он думал о том же, о чём думал и Вишневецкий: кто он? Ответа не было. Были только обрывки воспоминаний — чужих или своих, он уже не мог сказать. И ещё было странное, липкое, как страх, чувство, что он ступил на дорогу, с которой нельзя свернуть. Что каждое произнесённое слово, каждый ответ, каждая ложь становятся частью его самого, вырастают в него, как корни в землю.

Он становится тем, кем себя называет. Но кто он на самом деле — этого он, возможно, не узнает никогда.

Где-то далеко, за тысячи вёрст отсюда, в Москве, патриарх Иов читал донесение о бегстве чернеца Григория Отрепьева. Он хмурился и качал головой: беглый монах — мелкая неприятность, но неприятностей лучше избегать. Он не знал, что этот беглый монах через два года

войдёт в Кремль. Что именно он, патриарх, будет встречать его у ворот. Что вся его жизнь, жизнь Бориса Годунова и жизнь тысяч других людей будет перевернута одним-единственным человеком, который сейчас сидит в темноте и смотрит, как падает снег.

Но это будет потом. А пока была только ночь, только снег, только молчание. И два человека, разделённые стеной и судьбой: один думал, как использовать другого. Другой думал, как не потерять себя. И оба не знали, что их встреча изменит всё.

Глава 3. Улыбка Сандомира

Сандомир, владения воеводы

Ежи Мнишека. Апрель 1603 года.

Марина Мнишек ненавидела провинцию.

Она ненавидела запах навоза, который ветер приносил с конюшен даже в господские покои. Ненавидела жидкую грязь на улицах Сандомира, которая весной превращалась в настоящее месиво, способное поглотить карету вместе с лошадьми. Ненавидела местное общество — толстых шляхтянок, обсуждающих урожай и соседских коров, и их мужей, способных говорить только о ценах на зерно и прошлогодней войне.

Она родилась для другого. Для балов в Кракове, где дамы носят жемчуга, а кавалеры цитируют латинских поэтов. Для дворцовых интриг, где слово ранит больше шпаги. Для трона, в конце концов. Для самого настоящего трона — с бархатным балдахином, золотыми подлокотниками и властью, которая заставляет мужчин падать на колени.

Вместо этого она сидела в отцовском замке, слушала завывание апрельского ветра и вышивала ненавистный орнамент на ненавистных пальцах. Ей шёл двадцать первый год. По меркам провинциальной Польши — уже почти старая дева. Ещё пара лет, и отец выдаст её за какого-нибудь захудалого шляхтича с тремя деревнями и вечным насморком. От этой мысли хотелось кричать.

Марина отложила вышивание, подошла к окну. Во дворе замка кипела жизнь: слуги таскали дрова, конюх чистил лошадь, повариха гоняла кур. Вся эта суeta казалась ей бессмысленной, как движения муравьёв в муравейнике. Она смотрела на них сверху вниз — в прямом и переносном смысле — и чувствовала, как внутри закипает холодная, расчётливая злость. Злость на судьбу, которая обрекла её на прозябание. На отца, который тратил деньги на пиры, вместо того чтобы искать дочери достойную партию. На Бога, который, кажется, забыл о её существовании.

Она не была красавицей в привычном смысле. Слишком тонкие губы — такие губы называют змеиными, — слишком острый подбородок, слишком бледная, почти прозрачная кожа, которую не брал даже летний загар. Но у неё были глаза. Огромные, тёмные, с влажным блеском, который мужчины принимали за страсть, а женщины — за скрытую истерию. И она умела этими глазами пользоваться. Один взгляд — правильно рассчитанный, вовремя брошенный — мог сделать больше, чем целая речь.

И ещё у неё был ум. Острый, как бритва, и холодный, как зимняя сталь. Ум, который мужчины предпочитали не замечать, потому что замечать его было опасно. Марина понимала людей с первого взгляда. Она видела их слабости, их страхи, их тайные желания — и запомнила. Она никогда не угрожала и не шантажировала. Она просто знала. И те, кто догадывался об этом, начинали её бояться.

— Панна Марина!

В дверях стояла служанка — запыхавшаяся, покрасневшая, с выпученными от возбуждения глазами.

— Пан воевода просит вас спуститься в большой зал. У нас гости!

— Гости? — Марина лениво обернулась. — Кто на этот раз? Очередной кредитор отца?

— О нет, панна! Это... это... — служанка замялась, подыскивая слова. — Там князь Вишневецкий приехал. И с ним какой-то москвит. Говорят, он царевич. Настоящий царевич! Сын самого царя Ивана, того, что Грозный!

Марина почувствовала, как сердце пропустило удар. Она давно научилась владеть лицом, поэтому ни один мускул не дрогнул. Но внутри что-то щёлкнуло. Как будто деталь сложного механизма встала на место. Как будто она ждала этого — сама не зная, чего ждёт.

— Царевич? — переспросила она медленно. — Московский царевич? Здесь? В Сандомире?

— Да! Князь Вишневецкий говорит, что он спасся от убийц и теперь ищет помощи у короля. А пока остановился у нас. Пан воевода велел накрывать стол и звать музыкантов!

Марина повернулась к зеркалу. Поправила волосы — тёмные, уложенные вокруг головы тяжёлым венцом. Провела пальцем по губам, добавляя им румянца. Прищурилась, оценивая себя. Нет, не красавица. Но в правильном свете, при правильном разговоре, с правильным выражением глаз — она могла заставить мужчину забыть о красоте. Заставить видеть не лицо, а судьбу.

— Хорошо, — сказала она. — Я спущусь через четверть часа. Скажи отцу, что я хочу произвести впечатление.

Служанка выпорхнула за дверь. Марина осталась одна. Она достала из шкатулки лучшее ожерелье — жемчуг в три нити, подарок краковского воеводы, который имел неосторожность влюбиться в неё прошлым летом. Надела. Жемчуг холодил кожу.

Московский царевич. Законный наследник престола. Человек, у которого нет ничего, кроме имени. Или — человек, у которого есть всё, что можно пожелать, но нет возможности это получить.

Она улыбнулась своему отражению. Улыбка была тонкая, понимающая. Так улыбается игрок, которому в руки идёт недостающая карта.

В большом зале было шумно.

Ежи Мнишек, воевода сандомирский, любил гостей. Не из широты души — широта души была ему несвойственна, — а из тщеславия. Каждый гость, особенно знатный, был отражением его собственного величия. Чем больше гостей — тем больше величия. Поэтому он встречал Вишневецкого и его спутника с распростёртыми объятиями, уже предвкушая, как будет рассказывать соседям о визите московского царевича.

Гость сидел во главе стола. Он был одет в польское платье — кунтуш тёмно-синего бархата, отороченный соболем, — но держался особняком. Не пил, почти не ел, говорил мало. На вопросы отвечал коротко, но вежливо. На шутки не реагировал. Местная шляхта, уже изрядно захмелевшая, косилась на него с любопытством и некоторой опаской.

Марина вошла в зал ровно в тот момент, когда её появление могло произвести максимальный эффект. Гости уже насытились, но ещё не опьянели настолько, чтобы не заметить её. Свечи горели ярко, отбрасывая на стены пляшущие тени. Пахло жареным мясом, вином и мокрой шерстью — за окном снова пошёл дождь.

Она остановилась в дверях, давая всем время рассмотреть себя. Тёмно-красное платье, жемчуг в три нити, волосы, уложенные короной. Ни тени улыбки. Только спокойное, почти царственное ожидание. Ежи Мнишек, заметив дочь, просиял:

— А вот и моя Марина! Подойди, дитя моё. Позволь представить тебе нашего высокого гостя.

Она подошла. Медленно, плавно — каждое движение было отрепетировано годами практики. Она не смотрела на гостя прямо, но видела его боковым зрением. Худощав. Рыжеват. Не красив. Держится прямо, но без той развязности, которую она ожидала от самозванца. Скорее — с той особенной, сдержанной повадкой, какая бывает у людей, привыкших к постоянной опасности.

— Панна Марина, — сказал гость, поднимаясь. Голос у него был низкий, с хрипотцой. — Для меня честь.

Она подала руку для поцелуя. Он коснулся её пальцев губами — коротко, сдержанно, без тени подобострастия. И в этот момент поднял глаза и посмотрел на неё.

Марина многое видела в мужских взглядах. Желание. Страх. Расчёт. Восхищение. Похоть. Зависть. Она научилась читать эти взгляды, как другие читают книги. Но в его глазах не было ничего из привычного набора. Там была... пустота? Нет, не пустота. Скорее — бездна. Тёмная, глубокая, холодная бездна, в которой что-то пряталось. Что-то, чего она не могла разглядеть, как ни вглядывалась.

Он отпустил её руку и снова сел. Марина заняла место рядом с отцом — так, чтобы видеть гостя, но не сидеть напротив, лицом к лицу. Прямой взгляд был бы слишком вызывающим. Она предпочитала наблюдать исподтишка.

Пир продолжался. Шляхта пила, шумела, провозглашала тосты. Гость по-прежнему молчал. Вишневецкий рассказывал какую-то историю из военного прошлого. Ежи Мнишек смеялся, хлопал себя по ляжкам, подливал вина. Всё было как обычно — и в то же время по-другому. Потому что в центре этого привычного провинциального веселья сидел человек, от которого веяло чем-то нездешним. Как будто за столом присутствовал выходец с того света.

Марина ждала. Она знала, что рано или поздно разговор повернётся к единственной теме, которая интересовала всех. И она не ошиблась.

— Скажите, ваше высочество, — внезапно спросил один из шляхтичей, тучный пан с красным лицом и масляными глазами, — правда ли, что ваш батюшка, царь Иван, собственноручно убил вашего старшего брата?

За столом повисла тишина. Даже музыканты в углу перестали играть. Вопрос был чудовищно бестактным, заданным в пьяном кураже, но именно поэтому все ждали ответа. Марина заметила, как напрягся Вишневецкий, как замер её отец с кубком в руке.

Гость не изменился в лице. Он посмотрел на толстяка долгим, спокойным взглядом и ответил:

— Мой отец, царь Иоанн Васильевич, был великим государем. О его деяниях судить не мне и не вам. Я же был слишком мал, когда он умер, чтобы помнить подробности придворных событий. Могу только сказать, что я чту его память.

Ответ был безупречен. Ни подтверждения, ни опровержения, ни эмоций. Толстяк, явно ожидавший скандала, разочарованно хмыкнул и уткнулся в кубок. Разговор возобновился, но напряжение не ушло. Марина заметила, как гость провёл пальцем по краю тарелки — единственный жест, выдавший, что он не так спокоен, как хочет казаться.

Прошло ещё около часа, прежде чем ей представилась возможность поговорить с ним наедине. Гости вышли на крыльцо — подышать воздухом, покурить трубки. Марина, сославшись на духоту, осталась в зале. Она видела, как гость поднялся из-за стола и направился к окну, в тёмную нишу между двумя гобеленами.

Она подошла к нему. Не слишком быстро — чтобы не выглядело, будто она преследовала его, — но и не слишком медленно.

— Вы не танцуете, ваше высочество.

Он обернулся. В полутьме оконной ниши его лицо казалось старше и резче.

— Я не умею танцевать польские танцы. В Москве танцуют иначе.

— А в монастыре, наверное, вообще не танцуют?

Он промолчал. Марина продолжила, чуть понизив голос:

— Мой отец рассказал мне вашу историю. Про подмену. Про двойника. Про спасение. Это очень... трогательная история.

— Вы не верите в неё?

— Я не верю в трогательные истории. Они почти всегда лгут. Но это не значит, что они бесполезны.

Он впервые улыбнулся. Улыбка была странной — одними губами, без участия глаз. Так улыбаются люди, которые давно отвыкли от искреннего веселья.

— Вы необычная женщина, панна Марина.

— Обычные женщины не интересуются московскими претендентами, — парировала она.
— Обычные женщины хотят дом, сад, детей и спокойную старость. Я хочу другого.

— Чего же?

— Власти.

Она сказала это просто, без рисовки, без кокетства. Как говорят о погоде или о цене на зерно. Он посмотрел на неё внимательнее — и впервые за вечер в его глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.

— Зачем вам власть?

— А зачем она мужчинам? Власть — это свобода. Свобода делать что хочешь, идти куда хочешь, брать что хочешь. Свобода не зависеть ни от кого. Вы, как наследник престола, должны это понимать.

— Я понимаю. Но я также понимаю, что власть — это цепи. Другие цепи. Более тяжёлые.

— Значит, вы тоже не обычный претендент, — сказала она. — Обычный самозванец грезит о короне как о награде. Вы говорите о ней как о бремени. Это... любопытно.

— Вы назвали меня самозванцем?

— Я назвала вас претендентом. Это другое. Самозванец — тот, кто сознательно лжёт. Претендент — тот, кто заявляет права. Истинность этих прав — вопрос открытый. Я ещё не решила, кто вы.

— И как вы намерены решать?

Марина чуть прищурилась. Сейчас был важный момент. Сейчас она проверяла его так же, как он проверял её. Два игрока, узнающих друг друга в толпе зевак.

— Есть много способов, — сказала она. — Можно проверить знание церемониала. Можно найти свидетелей. Можно устроить очную ставку с теми, кто знал царевича в детстве. Но всё это ненадёжно. Свидетели лгут. Церемониал можно выучить. Детство забывается.

— Что же тогда надёжно?

— Тело.

Он вздрогнул — едва заметно, но она заметила.

— Тело?

— У царевича Дмитрия должны быть особые приметы. Родимые пятна. Шрамы. Что-то, чего нельзя подделать и нельзя забыть. Если вы — настоящий царевич, вы знаете эти приметы. Если нет — достаточно раздеть вас догола, и правда выйдет наружу.

Он долго молчал. Потом сказал — тихо, почти шёпотом:

— У меня есть шрам. На левом плече. Мне было пять лет, я упал с лошади. И ещё родимое пятно. На бедре. В форме короны. Моя мать говорила, что это знак, что я рождён для трона.

Марина внимательно смотрела на него. Он говорил правду. Или очень хорошо под неё подделывался. Но было в его голосе что-то, что заставило её внутренне дрогнуть. Не страх. Не надежда. Предчувствие.

— И вы готовы показать эти приметы любому, кто попросит?

— Если это потребуется для доказательства — да.

— А если вас попросит раздеться женщина?

Он снова улыбнулся — на этот раз криво, почти насмешливо.

— Это зависит от женщины.

Марина почувствовала, что щёки начинают теплеть. Это было не смущение — она давно отвыкла смущаться. Это был азарт, который она испытывала в детстве, когда играла с мальчишками в салки и всегда выигрывала, потому что бегала быстрее всех.

— Спокойной ночи, ваше высочество, — сказала она. — Я думаю, мы ещё поговорим.

Она повернулась и пошла прочь. Он не стал её удерживать. Она чувствовала его взгляд спиной, пока шла через зал. Взгляд был тяжёлым, пристальным — но не раздевающим, как у других мужчин. Скорее — оценивающим. Так смотрят на врага перед боем. Или на союзника, в котором ещё не уверены.

Ночью Марина не спала.

Она лежала в постели, глядя в тёмный потолок, и прокручивала в голове разговор. Каждое слово. Каждый жест. Каждую паузу. Она анализировала — это было её любимое занятие, её тайная сила.

Он был странным. Не таким, как она ожидала. Обычно мужчины её круга делились на два типа: наглые и трусливые. Наглые бросались на неё с комплиментами и обещаниями, думая, что она купится на лесть. Трусливые робели, отводили глаза, мямлили и не знали, куда девать руки. И те, и другие были предсказуемы. И теми, и другими можно было управлять.

Этот был другим. Он не набрасывался и не робел. Он держался на равных — с той особой, спокойной уверенностью, которую не дают ни деньги, ни титулы. Которая либо врождённая, либо выработанная годами смертельной опасности. Он был вежлив, но не подобострастен.

Говорил мало, но каждое слово било в цель. И главное — он не пытался ей понравиться. Он вообще, кажется, не думал о том, нравится он кому-то или нет.

Это было... интригующе.

Марина села в постели. За окном шумел дождь. В соседней комнате спала служанка. В большом зале, наверное, уже погасили свечи. Где-то в восточном крыле замка, в зелёных покоях (отец всегда селил почётных гостей в зелёных покоях), лежал без сна человек, называющий себя царевичем Дмитрием. Думал ли он о ней? Или о чём-то другом? Или просто смотрел в потолок, как она?

Она вспомнила его глаза. Тёмные, глубокие, со странным мерцанием, которое она заметила ещё при первой встрече. В них была тайна. И Марина любила тайны. Тайны были единственной вещью, которая делала жизнь в этой глуши выносимой.

Но была ещё одна мысль. Мысль, которую она не позволяла себе додумать до конца, потому что она была слишком дерзкой, слишком опасной.

Московский трон.

Если этот человек действительно царевич — он имеет право на корону. Если он получит корону — он станет царём. А царица... кто станет царицей? Та, кто поддержит его в трудный час. Та, кто будет рядом, когда он взойдёт на престол. Та, в чьих жилах течёт благородная польская кровь.

Марина откинулась на подушки. Сердце билось быстро, но мысли оставались холодными. Она не была мечтательницей. Она была стратегом. И сейчас стратег в ней просчитывал варианты.

Вариант первый: он самозванец. Тогда его ждёт разоблачение и смерть. Связываться с ним — безумие.

Вариант второй: он настоящий царевич. Тогда он — ключ к московскому трону. Но ключ ещё нужно повернуть, а перед этим — вырвать у Бориса Годунова.

Вариант третий: он ни то, ни другое. Он нечто третье — то, чего она пока не понимала. Но именно этот вариант заставлял её сердце биться быстрее.

Она заснула только под утро. Ей приснился сон: она идёт по длинному коридору Кремля, а за ней — тени, много теней, и одна из них — её собственная. Но когда она обернулась, тень не обернулась вместе с ней. Тень продолжала идти вперёд. Одна.

Три дня спустя Марина снова говорила с ним наедине.

Она нашла его в замковой библиотеке. Это было неожиданно — она думала, что он будет в конюшнях или в оружейной, как все мужчины. Но он сидел за столом, сгорбившись над книгой. При её появлении он поднял голову и прищурился.

— Панна Марина. Вы ищете меня?

— Я ищу книги. Но нашла вас. Это тоже интересно.

Он закрыл книгу. Марина успела заметить название: «История Московии» на латыни. Значит, он знал латынь. Ещё одна странность. Монахи знают латынь, но царевичи — нет. Царевичей учили церковнославянскому и греческому. Впрочем, беглый монах, изображающий царевича, тоже не стал бы афишировать знание латыни. Загадка на загадке.

— Вы изучаете историю собственной страны? — спросила она, садясь напротив.

— Я изучаю, что обо мне будут писать через сто лет.

— И что же?

— Враньё. В основном враньё. Но красивое.

Марина улыбнулась. Он умел шутить. Мрачно, желчно, но умел.

— Вы не похожи на царевича, — сказала она вдруг.

— Я знаю.

— И на монаха вы тоже не похожи.

— Я знаю.

— На кого же вы похожи?

Он откинулся на спинку стула. Солнце, пробивавшееся сквозь пыльное окно, падало на его лицо, и в этом свете оно казалось ещё более резким, почти жестоким.

— Однажды, — сказал он медленно, — я спросил у одного человека, кто я такой. Знаете, что он ответил?

— Что?

— «Ты — вопрос. И пока ты вопрос, ты жив. Когда ты станешь ответом — ты умрёшь». Я не понял этого тогда. Теперь понимаю.

— Кто был этот человек?

— Не помню. Может быть, никто. Может быть, я сам.

Марина долго смотрела на него. Потом встала, подошла к окну. Во дворе замка конюх гонял лошадь на корде. Лошадь была гнедая, с белой отметиной на лбу. Красивое животное.

— Мой отец хочет помочь вам, — сказала она, не оборачиваясь. — Он видит в вас возможность. Возможность получить деньги, влияние, благодарность будущего царя. Он уже

пишет письма в Краков. Он созывает сторонников. Он готов тратить свои средства на ваше дело.

— Я знаю. Он говорил мне.

— Но есть одна проблема.

— Какая?

— Мой отец — игрок. Он всегда ставит на победителя. Сейчас он ставит на вас. Но если он увидит, что ставка не оправдывается, он передумает. И тогда вы останетесь один.

— Вы предлагаете мне убедить вашего отца, что я — выигрышная ставка?

— Я предлагаю вам убедить меня.

Он встал и подошёл к ней. Теперь они стояли рядом у окна — близко, но не касаясь друг друга. Она видела его отражение в стекле. Он был выше её на полголовы.

— Зачем мне убеждать вас, панна Марина?

— Потому что мой отец слушает меня. Если я скажу, что вы — самозванец, он выпшвырнет вас завтра же. Если я скажу, что вы — настоящий царевич, он продаст последнюю деревню, чтобы достать вам денег.

— А если я не смогу вас убедить?

— Тогда вам придётся искать другого покровителя. Боюсь, в Польше их немного.

Он молчал. Потом сделал шаг назад — и Марина почувствовала странное разочарование. Она ожидала, что он попытается её очаровать, или запугать, или подкупить. Вместо этого он просто отступил.

— Я не буду вас убеждать, — сказал он. — Я устал убеждать. Я делал это слишком часто. Сначала в Литве, потом здесь. Каждый раз я должен доказывать, что я — это я. Но чем больше я доказываю, тем меньше сам в это верю. Поэтому я не буду убеждать вас. Решайте сами. Если вы хотите — помогайте. Если нет — я уйду.

Она повернулась к нему. Теперь она смотрела ему прямо в глаза.

— Вы говорите как человек, который не боится потерять всё. Но вам есть что терять. Трон. Власть. Жизнь.

— Жизнь я уже терял. Остальное — дело наживное.

Он произнёс это так просто, что Марина вдруг поняла: он не рисуется. Он действительно не боится. И это было страшнее всего. Потому что человек, которому нечего терять, неуправляем. А человек, который хочет найти себя, — вдвойне.

— Хорошо, — сказала она. — Я решу. Но мне нужно время. И ещё — мне нужно увидеть вас в деле. Завтра отец устраивает охоту. Вы ездите верхом?

— Да.

— Тогда увидим.

Она пошла к двери. У самого порога обернулась.

— И ещё. Вы сказали, что у вас родимое пятно в форме короны. Если это правда — это сильный аргумент. Но аргумент, который работает только без свидетелей. Я бы на вашем месте не спешила его демонстрировать.

Он кивнул. Она вышла.

В коридоре было темно и холодно. Марина прислонилась к стене и закрыла глаза. Сердце колотилось. Она пыталась понять, что только что произошло. Она пришла, чтобы проверить его, — а ушла, чувствуя, что проверка провалена. Или, наоборот, пройдена. Она не могла сказать.

Он был либо гением лжи, либо безумцем, либо истинным царевичем. Но что-то подсказывало ей: есть четвёртый вариант. Вариант, при котором он сам не знает, кто он. И этот вариант был самым опасным — и самым притягательным.

В своей комнате Марина села к столу и зажгла свечу. Достала лист бумаги, обмакнула перо в чернила. Написала:

«Он не лжёт. Он не говорит правду. Он что-то третье. Я узнаю, что именно».

Потом сожгла записку над пламенем свечи. Пепел бросила в камин.

Завтра будет охота. Завтра она увидит, как он держится в седле. Как обращается с оружием. Как ведёт себя с мужчинами. Завтра она получит новые данные для анализа.

А пока — только ночь, только дождь за окном, только имя, которое звучало в голове как далёкий набат.

Дмитрий.

Она произнесла это имя вслух — шёпотом, пробуя на вкус.

— Дмитрий, — сказала она. — Царевич Дмитрий. Государь всея Руси.

И улыбнулась.

Это была та улыбка, которую много лет спустя опишут враги и поклонники, историки и поэты. Улыбка, в которой не было ни тепла, ни веселья. Только холодный, ослепительный блеск. Как от лезвия ножа.

Глава 4. Кровь Углича

Имение Мнишеков в Самборе. Май 1603 года.

Болезнь пришла без предупреждения.

Ещё утром он был здоров — или, во всяком случае, выглядел здоровым. Участвовал в верховой прогулке, которую устроил воевода, смеялся над шутками шляхтичей, даже сам рассказал какую-то историю из московской жизни. Марина, ехавшая по левую руку от него, отметила про себя, что держится он в седле превосходно — не как монах и не как царевич, а как человек, проведший в седле половину жизни. Ещё одна загадка в копилку.

К полудню он начал кашлять. Сперва сухо, потом с мокротой. К вечеру слёг.

Вызвали лекаря. Тот осмотрел больного, пощупал лоб, покачал головой и изрёк вердикт, который ничего не объяснял: «Горячка дурная. Молитесь».

И начался кошмар.

Три дня и три ночи он горел в огне. Бредил. Кричал. Метался по постели, сбивая простыни в ком. Двое дюжих слуг едва удерживали его, чтобы он не разбил голову о спинку кровати. Из рта шла пена, глаза закатывались так, что видны были одни белки. Лекарь пускал кровь, ставил пиявки, прикладывал к вискам холодные компрессы — ничего не помогало. Жар не спадал.

Ежи Мнишек был в отчаянии. Не из сострадания — он не был сострадателем. Но мысль о том, что московский царевич умрёт в его доме, не получив аудиенции у короля, не начав похода, не оправдав вложенных средств, — эта мысль была для него невыносима. Он ходил по замку мрачнее тучи, срывался на слуг, пил больше обычного и беспрестанно твердил: «Если он умрёт, мы разорены. Мы всё поставили на него. Всё!»

Марина не говорила ничего. Она проводила часы у постели больного — не из жалости, а из того же холодного, почти научного любопытства, которое двигало ею с первой встречи. Она наблюдала. Слушала. Запоминала.

И то, что она слышала, заставляло её кровь стынуть в жилах.

В первый день бред был бессвязным. Он говорил на смеси языков — русские слова перемежались польскими, латинскими, даже греческими. Он поминал каких-то людей, имена которых ничего не говорили ни Марине, ни лекарю, ни отцу. Он спорил с кем-то невидимым, оправдывался, угрожал. Один раз он закричал: «Не бейте! Я всё скажу! Я всё скажу, только не бейте!» — и голос его был голосом не царевича, а насмерть перепуганного мальчишки.

— Кого это он? — спросил Ежи Мнишек шёпотом.

— Вероятно, монастырское прошлое, — ответила Марина. — В Чудовом монастыре его держали на цепи и били.

Но сама она не была в этом уверена. Слишком уж неподдельным был ужас в его голосе. Так не играют. Так не притворяются. Так кричат только те, кто действительно пережил нечто, сломавшее их навсегда.

На второй день всё изменилось.

Жар усилился. Лекарь сказал, что если к утру не наступит перелом, больной умрёт. Мнишек велел звать священника. Марина осталась у постели.

Ближе к полуночи он вдруг затих. Дыхание стало ровным, лицо разгладилось. Марина подумала, что кризис миновал, — и в этот миг он заговорил.

Это был не тот голос, которым он говорил прежде. Не низкий, с хрипотцой, спокойный голос человека, привыкшего владеть собой. Это был тонкий, срывающийся, почти детский голос.

— Мама, — сказал он. — Мама, они здесь. Они пришли. Я слышу их шаги. Мама, спрячь меня.

Марина замерла. Свеча в её руке дрогнула. Воск капнул на пол.

— Где ты? — продолжал он тем же детским голосом. — Почему ты не идёшь? Ты обещала. Ты сказала: «Я тебя никому не отдам». Ты обещала, мама. Ты обещала.

По щекам его текли слёзы. Марина никогда не видела, чтобы взрослые мужчины плакали во сне. Это было страшно и жалко одновременно. Она хотела встать, позвать лекаря, но что-то удержало её на месте.

— Там кровь, — прошептал он. — Много крови. Она на снегу. Почему снег красный? Разве снег бывает красным? Мама, мне страшно. Мама, они идут сюда. У них ножи. У них длинные ножи. Мама!

Он вскрикнул — и в этом крике было столько ужаса, что Марина невольно отшатнулась.

И тут голос изменился.

Это произошло мгновенно — как будто кто-то задул одну свечу и зажёл другую. Детские интонации исчезли. Вместо них появился другой голос — низкий, грубый, с простонародным выговором, какого Марина никогда не слышала от своего гостя.

— Не режьте, дядька, — забормотал он скороговоркой. — Не режьте, я немой. Я ничего не скажу. Я ничего не видел. Я не знаю, кто я. Я никому не расскажу. Только не режьте. У меня мамка дома. У меня братик маленький. Пожалейте, дядька. Пожалейте.

Марина почувствовала, как у неё пересыхает во рту. Это был не царевич. Это был не монах. Это был кто-то третий.

— Ты видел, — ответил он сам себе — теперь уже первым, «царским» голосом. — Ты всё видел. Ты стоял за дверью. Ты смотрел в щель. Ты видел, как они резали мальчика. Ты видел его глаза. Ты видел кровь. Ты слышал, как он звал мать. Ты всё помнишь.

— Не помню! — завизжал второй голос. — Ничего не помню! Я спал! Я спал, когда они пришли! Я ничего не видел!

— Ты видел. Ты запомнил. Ты будешь помнить всегда. Ты будешь просыпаться по ночам и видеть этот нож. Этот снег. Эту кровь. Ты будешь помнить, даже когда умрёшь. Память — это твоё проклятие. Ты украл чужую жизнь, а теперь не можешь забыть чужую смерть.

— Я не крал! Я не крал! Мне велели! Мне сказали: «Будешь вместо него». Я не хотел! Я не хотел!

— Но ты согласился. Ты взял его имя. Ты взял его мать. Ты взял его трон. А теперь скажи: кто ты? Скажи! Кто ты?!

Наступила пауза. Долгая, страшная пауза. Марина слышала только биение собственного сердца.

А потом он заговорил в третий раз — и это был новый голос. Спокойный, почти мёртвый. Голос человека, который прошёл через ад и вышел с другой стороны.

— Я не знаю, — сказал он. — Я не знаю, кто я. Я помню всё. Я помню крыльцо в Угличе. Я помню, как меня учили ходить. Я помню запах маминых волос. И я помню избу. Помню печь. Помню холод. Помню, как меня били за то, что я плохо выучил урок. Я помню обе жизни. И я не знаю, которая из них моя.

— Ты должен выбрать, — сказал первый голос.

— Я не могу. Если я выберу — я умру. Понимаешь? Если я решу, кто я, — я перестану быть другим. А другой тоже хочет жить. Он тоже имеет право.

— Тогда ты будешь мучиться вечно.

— Значит, буду.

Голоса смолкли. Он задышал ровнее. Лицо разгладилось. Марина сидела, не в силах пошевелиться. Свеча догорела до основания и погасла. В комнате стало темно.

Она не знала, сколько времени прошло. Может быть, час. Может быть, минута. За окном начинало сереть. Дождь прекратился. Где-то в замке запел петух.

Марина встала, стараясь не шуметь, и вышла из комнаты. В коридоре она прислонилась к стене и закрыла глаза. Перед её внутренним взором всё ещё стояла картина: снег, красный от крови. Ножи. Детский крик. И два мальчика — или один? — которые меняются местами, как в страшной сказке.

Она поняла, что её трясёт. Не от холода. От ужаса.

До этого момента она рассматривала его как политическую фигуру. Как инструмент для достижения власти. Как загадку, которую нужно разгадать. Но теперь она увидела то, что скрывалось за загадкой. Внутри этого человека жили два сознания. Два набора воспоминаний. Два голоса. И они вели друг с другом войну.

Был ли он царевичем? Был ли он самозванцем?

Ответ был страшнее обоих вариантов.

Он был и тем, и другим. И он не знал, кто из них настоящий.

Утром жар спал.

Лекарь, явившийся на рассвете, с удивлением обнаружил, что больной дышит ровно, лоб его влажен от пота, но прохладен, а пульс ровен. Кризис миновал. Он будет жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.